

XXVIII. КАДАЯ

По возвращении в Петропавловскую крепость с Мытнинской площади после церемонии «гражданской казни» Чернышевского ждало еще одно испытание: в крепость приехали проститься с ним жена со старшим сыном, братья и сестры Пыпины, Терсинский, Елисеев, Боков и Антонович.

Николай Гаврилович держался с поразительным спокойствием и выдержкой. «...Мы проводили Николю без слез, — писала Е. Н. Пыпина родным в Саратов. — Поплакать нам не случилось потому, что он сам был довольно весел, потом нужно было слишком много сказать друг другу...»

— Как сначала я имел право говорить, так и теперь его имею, что против меня у них не было никаких оснований вести так дело... — говорил родным Чернышевский.

Он отлично знал, что царское правительство не располагало уличающими его материалами, что все было грубо подтасовано и основано на фальшивках.

Еще десять лет тому назад, в первых беседах со своей будущей женой, Чернышевский, предчувствуя ожидавшую его участь, говорил ей: «Меня каждый день

могут взять... у меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости».

Нечто сходное сказал он теперь своей двоюродной сестре в одно из последних свиданий в Петропавловской крепости.

— Это еще хорошо для меня, такое событие, как вся эта история, теперь, во всяком случае, я имею полное сознание несправедливости и пристрастия господ, решавших дело. Не будь этого, очень вероятно, что *я не выдержал бы*, и тогда эти господа были бы в своем праве.

Чернышевского не оставляла надежда, что ему удастся, хотя бы под псевдонимом, печатать свои произведения и тем самым поддерживать материально семью. Прощаясь с Антоновичем, он сказал, что и на каторге непременно будет писать много и постарается присылать свои статьи для помещения в «Современнике», и что если их нельзя будет печатать с его именем, то нужно попробовать подписывать псевдонимом, или, чтоб они представлялись в редакцию через подставное лицо, например через друга Антоновича — Л. И. Розанова.

Он полагал, что, по крайней мере, беллетристические произведения, подписанные вымышленной фамилией, найдут себе место на страницах журнала. Но этим надеждам Чернышевского не суждено было сбыться. О печатании его произведений в России, даже под псевдонимом, не могло быть и речи. Власти не собирались повторять «ошибку», допущенную ими при опубликовании романа «Что делать?», получившего та-

кой горячий отклик со стороны широких слоев читателей.

Перед отправлением в Сибирь он составил список своих рукописей и тех книг, над которыми работал в крепости, прося передать их А. Н. Пыпину. Однако бумаги его так и не вышли из недр Третьего отделения и были обнаружены в архиве Петропавловской крепости лишь после Великой Октябрьской революции.

Трудный и долгий путь предстоял Чернышевскому от Петербурга до Нерчинского завода, через Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Тобольск. Родные его озаботились о том, чтобы облегчить ему это длительное путешествие. Экипаж и необходимые вещи были доставлены ими к воротам крепости в назначенный день и час. Но предварительное разрешение, данное на это администрацией, оказалось обманным: вечером 20 мая Чернышевский был отправлен в почтовой телеге, под охраной двух жандармов в «Тобольский приказ о ссыльных».

Благонадежный конвой, непродолжительность остановок, быстрое следование в пути — вот о чем усердно заботилось начальство, знавшее, что «известное значение Чернышевского в литературе доставляет ему поклонников, преимущественно из людей молодых, способных к увлечениям всякого рода».

5 июня 1864 года Чернышевский прибыл в Тобольск, где его определили в местную тюрьму, так как предстояла недельная остановка. Здесь временно размещены были польские повстанцы. В дальнейшем с некоторыми из них Чернышевский отбывал каторгу в Забайкалье. В Тобольске познакомился с ним С. Стахевич, оставивший воспоминания и об этой встрече и о совместном их пребывании впоследствии в Александровском заводе. «Некоторые из поляков, — пишет

Стахевич, — зайдя по своим делам в тюремную контору, прибежали оттуда и позвали меня: «Идите в контору, — земляка вашего привезли, русского».

Войдя в тюремную контору, Стахевич тотчас узнал в привезенном узнике Чернышевского. Еще несколько лет назад он видел у одного из своих товарищей по университету фотографическую карточку властителя умов молодого поколения. На карточке той Чернышевский был без усов и без бороды, с густой шевелюрой.

Теперь перед Стахевичем стоял похожий на этот портрет Чернышевский, только волосы его были коротко острижены, и это несколько изменило его облик.

«Где-то я уже видел его раньше», — подумал Стахевич. И тут, как в сновидении, мелькнула перед ним сцена, происшедшая в августе минувшего года. Стахевич, находившийся тогда в заключении в Петропавловской крепости, был однажды вытребован в Сенат для чтения вопросов, заданных ему следственной комиссией, и его ответов на эти вопросы. Сопровождавший Стахевича полицейский чиновник привел его в большую комнату, расположенную рядом с присутственной, и, усадив около длинного стола, куда-то удалился. Ожидая вызова, Стахевич обратил внимание, что на противоположном краю стола какой-то человек в очках перелистывает толстый канцелярский фолиант, часто наклоняется к этому фолианту очень низко, так что бородою почти касается рассматриваемых листов, и быстро набрасывает заметки на бумаге. Стахевича поразило сходство этого человека с изображением Чернышевского на фотографии, которую он видел у своего университетского товарища.

«В самом деле, должно быть, он, — подумал Стахевич. — А фолиант этот, очевидно, канцелярское дело о его провинностях; дело толстущее, много, должно

быть, обвинений против него; помоги ему бог выпутаться из этой передряги».

С разрешения тюремного смотрителя Стахевич повел Чернышевского из конторы с собою, предполагая, что Николай Гаврилович будет находиться вместе с поляками в большой общей камере политического отделения тобольской тюрьмы. Но очень скоро туда явился смотритель и заявил, что по распоряжению начальства он должен поместить Чернышевского отдельно от всех в камере «секретного коридора». Впрочем, смотритель разрешил Стахевичу заходить иногда к Чернышевскому. В одно из таких посещений Николай Гаврилович сказал ему:

— Мне сообщили, что я пробуду в Тобольске недолго, всего несколько дней. Распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать не хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой, я что-нибудь выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут.

Из названных Стахевичем книг он попросил физиологию Функе на немецком языке. Через несколько дней, возвращая книгу, Чернышевский заметил:

— С большим удовольствием нашел в этой книге почетное упоминание о научных работах наших русских людей: Сеченова, Якубовича, Овсянникова...

Запомнился Стахевичу рассказ Николая Гавриловича о переправе с конвоирами через какую-то речку на большом пароме. Когда конвоиры отошли к борту парома, Николай Гаврилович завел разговор с ямщиком в таком роде:

— И что тебе за надобность ямщиком быть? Столько у тебя денег, а за прогонами гонишься.

— Что ты, батюшка, Христос с тобой; какие у меня деньги? Никаких нет.

— Рассказывай!.. Вишь, у тебя на армяке заплата сколько, а под каждой заплатой деньги, небось, зашиты.

Тут ямщик понял, что Николай Гаврилович шутит, и сказал:

— Кто за народ стоит, все в Сибирь идут, — мы это давно знаем.

Некоторые из поляков, желая сохранить что-нибудь на память о замечательном русском революционере, передавали Стахевичу свои записные книжки и просили через него Чернышевского набросать хоть два-три слова. Надписи Николая Гавриловича были лаконичны: «Н. Чернышевский, литератор, год, месяц и число».

Через несколько дней Чернышевского вывезли из Тобольска. Путешествие до Иркутска длилось три недели. 2 июля он прибыл в Иркутск. Так как местное начальство еще само не знало твердо, куда будет определен Чернышевский для отбывания каторжных работ, то Николаю Гавриловичу пришлось перенести мучительно-трудную переброску из Иркутска в Усолье на Ангаре, из Усоляя обратно в Иркутск, из Иркутска по Амурскому тракту в Читу, из Читы в Нерчинский завод, где должны были уточнить место отбывания им каторги.

Бухгалтер Нерчинской каторги Пахаруков рассказывал впоследствии о дне прибытия Чернышевского в Нерчинский завод: «Я был дежурным в Горном правлении, когда в половине августа 1864 года, часов в двенадцать дня, жандармы подвезли Чернышевского. По особому извещению все заранее знали о его привозе и последние дни его поджидали. Мы, мелкие чиновники, знали, что Чернышевский одной категории с Михайловым, который прибыл в завод (на каторгу) года

за два раньше... Видели мы его (Чернышевского) тогда близко, — сухощавый, загорелый, с длинными волосами, в очках, с бородкой; когда он оглядывал нас через очки, нам стало не по себе, и мы вышли...»

Канцелярист Горного правления Протасов передавал, что всю эту ночь Чернышевский ходил из угла в угол большими шагами. Охранявшему его караульному он сказал: «Спите, спите, дорогой, у вас служба. Ведь нашего брата много будет, если из-за каждого не спать, голову потеряете».

Из Нерчинского завода Чернышевского в сопровождении казачьего урядника Зеркальцева отправили в Кадаю, глухое селение близ китайской границы

Он был измучен тысячеверстным путешествием, здоровье его надломилось: началась цынга и сердечная болезнь. По врачебному освидетельствованию, произведенному в присутствии администрации Горного правления, было установлено, что Чернышевский не способен до выздоровления к рудничным работам, что его надлежит поместить в Кадаинское лазаретное отделение под военным караулом.

Здесь, в лазарете, его ждала встреча с близким другом юности и сподвижником на поприще революционной деятельности — Михаилом Ларионовичем Михайловым.

Университет. Работа в «Современнике». Поездка Чернышевского к Герцену. Затем поездка Михайлова к Герцену. Прокламации: «К молодому поколению», «К барским крестьянам». Провокатор Костомаров. Суд. «Гражданская казнь» Михайлова. Затем «казнь» Чернышевского. Тысячеверстный путь из Петербурга в Забайкалье. И вот, наконец, Кадаинский лазарет...

А равнодушная рука местного писца из месяца в месяц заполняла номерные «ведомости о политических

и государственных преступниках, находящихся при рудниках Нерчинского горного округа».

«1. *Михайло Ларионов Михайлов*. 34 года, бывший отставной губернский секретарь. За злоумышленное распространение сочинения, в составлении которого он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти, потрясения основных учреждений государства... Михайлов по высочайшему повелению, последовавшему 23 числа ноября 1861 года, по лишению всех прав состояния, ссылается на каторжную работу на рудниках на шесть лет. При Кадаинской дистанции... находился в лазаретном отделении для лечения...

2 *Николай Гаврилов Чернышевский* 35 лет. Бывший отставной титулярный советник. За злоумышление к ниспровержению существующих порядков, за принятие мер к возмущению, за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания, Чернышевский по высочайше утвержденному мнению Государственного совета лишен всех прав состояния, сослан в каторжную работу в рудники на семь лет в Нерчинск. При Кадаинском руднике... находился в лазаретном отделении для излечения...»

Только через полгода Чернышевский был выписан из лазарета. А друг его, прикованный к больничной койке тяжелой болезнью, был уже обречен. Через год его не стало...

Еще находясь в Петропавловской крепости, Михайлов писал:

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытаются огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых...

Час обновления настанет —
Воли добьется народ.
Добрим нас словом помянет,
К нам на могилу придет. .

Есть свидетельства, что ночью 3 августа 1865 года Чернышевский, услышав о том, что Михайлов умирает, бросился в больницу, невзирая на часовых и на стужу, без шапки, в чем сидел дома. Он хотел в последний раз обнять любимого друга, но ему уже не удалось застать его в живых...

Только глухие вести о Михайлове и Чернышевском доходили в это время до Герцена, настойчиво продолжавшего напоминать в своем «Колоколе» о трагической участи кадаинских узников, которые, не прося пощады, «ушли на каторгу с святою нераскаянностью».

Кадая. Глушь и безлюдье. Тоскливую монотонность придавали пейзажу безлесные сопки. Ни кустика, ни светлого озера. Лишь яркие пятна багульника, покрывавшие склоны сопок, бросались в глаза.

На одном из одиноких обрывистых утесов, рядом с могилами польских повстанцев, вырос простой деревянный крест, под которым покоился прах многострадавшего поэта-борца

В Кадаинский рудник все чаще и чаще прибывали, и поодиночке и партиями, политические ссыльные,

осужденные царским правительством на каторжные работы. Революционная борьба не затихала.

Друзья и единомышленники Чернышевского не забывали своего учителя. Один из молодых его сподвижников писал в те дни Герцену: «Вы проповедывали пятнадцать лет, мы учились у Вас и в то же время, будучи в России, учились и у другого учителя — Чернышевского... Мы выросли и окрепли, и — все без исключения... двинулись на прямое активное дело... ради этого дела я мог спокойнее и с уверенностью за отшественные перенести гибель своего лучшего друга и учителя...»

«Помнили» о Чернышевском и враги его, а более всех — мстительный автор резолюции: «Быть по сему...»

Один из товарищей детства и отрочества Александра II — известный писатель А. К. Толстой — зимой 1864/65 года, во время охоты, стоя рядом с царем, решил воспользоваться случаем и замолвить слово за осужденного Чернышевского, которого он знал лично.

На вопрос Александра II, что делается в литературе и не написал ли он, Толстой, что-либо новое, писатель ответил: «Русская литература надела траур по поводу *несправедливого* осуждения Чернышевского...»

Но Александр II не дал поэту окончить фразу: «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском», — проговорил он недовольно и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их окончена.

Царь не забыл вознаградить тридцатью серебряниками Иуду: «Высочайше разрешено дать Костомарову с семейством единовременно пятьсот рублей серебром, истребовав эти деньги из государственного казначейства на известное его величеству употребление».

Приспешники царя писали «конспиративным» языком финансовые документы о компенсации предательства. 5 августа 1863 года министр финансов Рейтерн обратился к министру внутренних дел Валуеву со следующим письмом: «Погубивший дирижера радикального оркестра, завтра, от 9 до 11 веч., может получить у Ф. Т. Ф. 1000 рублей, если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать...»

Предатель еще не оставлял попыток выступить в роли литератора. 18 июня 1864 года Третье отделение «в видах вознаграждения «услуг» рядового Костомарова» приняло на свой счет расходы по печатанию его «сочинений» в сумме 1 366 рублей 35 копеек серебром...

После лазарета Чернышевского поселили в небольшом ветхом домике. В стенах и рамах этого помещения было много трещин, через которые проникал холод. «По правде говоря, — вспоминал потом Чернышевский, — мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего домика».

Вскоре он получил известие, что Ольга Сократовна собирается навестить его. Это известие и радовало и страшило Чернышевского. «Что сказать тебе, моя милая голубочка, о твоём намерении ехать сюда? Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна; ты знаешь, я всегда принимаю за наилучшее решение — то, на котором ты остановишься; но умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути», — писал он жене весной 1865 года.

Прошел год. В начале мая Ольга Сократовна вы-

ехала с восьмилетним сыном Михаилом в сопровождении доктора Павлинова в Забайкалье.

Может быть, сама того не подозревая, она выбрала неудачное время для поездки — почти тотчас же после покушения Каракозова на Александра II. Генерал-губернатором Восточной Сибири было отдано распоряжение коменданту Нерчинских заводов «обратить особенное внимание на Чернышевского». Надзор за ним усилился. В домике, где он жил, дверь заделали так, чтобы ход к нему был только из караульни. Встрешенное начальство вело секретную переписку о принятии дальнейших мер предосторожности.

Добравшись до Иркутска, Ольга Сократовна подала прошение на имя губернатора о разрешении ей свидания с мужем.

В ответ было выдвинуто издевательское условие, что «если она желает следовать к мужу в Нерчинские Заводы, то должна навсегда оставаться в Сибири (до смерти мужа) и подчиняться всем тем ограничениям, которые постановлены для жен государственных преступников». Ольга Сократовна объяснила, что она не может согласиться на такое условие уже по одному тому, что оставила на родине старшего сына. Она снова просила разрешить ей свидание, хотя бы в присутствии жандармов, и обещала разговаривать с Николаем Гавриловичем только на русском языке. Губернатор запросил Петербург, и оттуда пришло разрешение на свидание, с тем чтобы Чернышевскую сопровождал жандармский офицер и чтобы не было допущено «никаких секретных сообщений, письменных или словесных».

Ольге Сократовне пришлось почти месяц задержаться в Иркутске. Наконец она выехала с сыном в Нерчинский завод в сопровождении жандармского

штабс-капитана Хмелевского, который всю дорогу держал себя с наглой развязностью. Доктору Павлинову было запрещено дальнейшее следование.

«23 августа... прибыли мы в Кадаю, — писал позднее в своих воспоминаниях Михаил Николаевич Чернышевский. — Это маленький поселок из нескольких деревянных домиков, верстах в 15 от китайской границы. В одном из этих домиков обитал и отец... Две маленькие комнаты. На полу груды книг; в памяти остались «Отечественные записки» в их желтой обложке. Свидание наше продолжалось всего пять дней (уехали 27 августа), так как для отца было невыносимо постоянное присутствие жандармов... Отец, конечно, был обрадован встречей с горячо любимой матушкой, но к чувству радости не могло не примешиваться и горькое чувство досады на то, что для свидания на несколько дней понадобилось несколько месяцев дороги и много сопряженных с этим расходов и неприятностей. В последующих своих письмах он неоднократно умоляет мою матушку не повторять более своих попыток видаться с ним, указывая на длину пути и невозможные местные условия жизни к выражая вместе с тем глубокую уверенность в том, что по истечении срока его ссылки он будет переведен поближе к России, где получит возможность возобновить свою литературную деятельность...»

Чернышевский не предполагал тогда, что и тут его ожидало горькое разочарование...

